

ПРЕДСМЕРТНЫЕ МЫСЛИ КНЯЗЯ АНДРЕЯ И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЭЛЕГИИ

Тибор Бароти

(Baróti Tibor, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Orosz Filológiai Tanszék
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

Одно из главных действующих лиц романа Льва Толстого *Война и мир*, князь Андрей, из-за тяжелых ранений, полученных в военных действиях, неоднократно оказывается в предсмертном состоянии, на пороге жизни и смерти, при этом в нем сочетаются рациональное мышление и бессознательный бред сновидений. Благодаря такому необыкновенному, исключительно своему состоянию он приобретает сильно отличающийся от привычного, обыкновенного ракурс восприятия и оценки жизни. Такой новый взгляд на жизнь, на исторические события, участником которых он является, может быть определен известным термином «остранение», предложенным В. Шкловским в книге *О теории прозы*. В первой главе своей книги, озаглавленной *Искусство как прием*, он объясняет термин «остранения», как известно, на литературном материале, взятом из произведений Льва Толстого. В. Шкловский, между прочим, пишет: «Прием остранения у Льва Толстого состоит в том, что он не называет вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз виденную, а случай – как в первый раз произошедший...»¹ В предлагаемой статье указанные в названии статьи эпизоды романа Льва Толстого, изображающие предсмертные мысли героя романа, а также аналогичные мысли и положения, изображенные в русской элегии первой половины XIX века, прежде всего в пушкинской элегии, я стараюсь рассмотреть с другой, онтологической точки зрения, близкой, если не тождественной, к обосновывающему христианскую, европейскую культуру – библейскому, евангельскому содержанию.

О романтической элегии и вообще об идеях романтизма принято говорить в плане гносеологическом, познавательном, в тесном соотношении с событиями исторической, политической и идеологической жизни. Известный ученый Г. А. Гуковский, в своей монографии *Пушкин и русские роман-тики* пишет: «Романтизм явился откликом на буржуазную революцию во Франции и крушения надежд на нее [...] В плане же общего стадияльного движения литературы [...] можно говорить о едином периоде, едином стиле [...] романтизма и предромантизма, его предвестия, объединенном и единством

¹ Шкловский 1925, 12.

социальной основы (наступлением буржуазии против феодализма), и единством идеологического характера (индивидуализм – как простейшая формула его). Внутри этого периода мы легко различим его ранний этап – предромантизм, или сентиментализм, или школу „бури и натиска“; грань между этим ранним этапом и другим, более поздним, романтическим, явная: это Французская революция.»²

Как известно, основное мироощущение сентиментализма и романтизма – «мировая скорбь», отразившаяся в господствующем жанре эпохи – элегии «общего разочарования». По литературному энциклопедическому словарю «мировая скорбь» – это «выражение не только трагического разлада личности с собой и со средой, [...] но и со всем мироустройством».³ Именно такой разлад личности с собой и со средой, вернее со всем мирозданием и представляет собой онтологический кризис, переживаемый личностью, т. е. потерю онтологического чувства обеспеченности бытия, выражаемую в жанре элегии «общего разочарования». В русской литературе конца XVIII века – начала XIX столетия элегии такого рода можно найти между прочим среди подражательных элегий Н. Карамзина и переводных стихотворений В. А. Жуковского. Далее я привожу четыре строфы из стихотворения Н. Карамзина, заканчивающие его элегию в восемь строф, под названием *Осень*, написанную в 1789 году:

[...]
*Странник, стоящий на холме,
 Взором унылым
 Смотрит на бледную осень,
 Томно вздыхая.*

*Странник печальный, утешься!
 Вянет природа
 Только на малое время;
 Всё оживится,*

*Всё обновится весною;
 С гордой улыбкой
 Снова природа восстанет
 В брачной одежде.*

*Смертный, ах! вянет навеки!
 Старец весною
 Чувствует холодную зиму
 Ветхия жизни.»⁴*

² Гуковский 1965, 18–19.

³ Литературный энциклопедический словарь 1987, 222.

⁴ Русские поэты XIX века 1964, 49.

В стихотворении В. А. Жуковского 1811 года, представляющем собой поэтический перевод из Мильвуа и носящем подзаголовок *Романс*, выражается та же характерная для элегии общего разочарования мировая скорбь, причиной которой, по моему мнению, является не просто переживание скоротечности жизни и неминуемости смерти, а трагизм потери онтологической обеспеченности, т. е. духовной основы человеческого бытия:

Романс (из Мильвуа)
 Минутная краса полей,
 Цветок увядший одинокой,
 Лишен ты прелести своей
 Рукою осени жестокой.
 Увы! Нам тот же дан удел,
 И тот же рок нас угнетает:
 С тебя листочек облетел –
 От нас веселье отлетает.
 Отъемлет каждый день у нас
 Или мечту, иль наслажденье,
 И каждый разрушает час
 Драгое сердцу заблужденье.
 Смотри... очарованья нет;
 Звезда надежды угасает...
 Увы! кто скажет: жизнь иль цвет
 Быстрее в мире исчезает?⁵ (Цветок)

Тютчев, крупный поэт-романтик, в своем стихотворении 1851 года *Наш век* указывает на причину «тоски», т. е. «мировой скорби» человека XIX века: на потерю духовных основ жизни, при этом духовное падение человека он выводит из безверия современного человека. Я привожу первые две строфы из стихотворения Тютчева, состоящего из трех строф:

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,
 И человек отчаянно тоскует...
 Он к свету рвется из ночной тени
 И, свет обретши, ропщет и бунтует.
 Безверием палим и иссушен,
 Невыносимое он днесь выносит...
 И сознает свою погибель он,
 И жаждет веры – но о ней не просит
 [...] (Наш век)*

Тютчев в своем творчестве неоднократно изображает трагизм современного человека, страдающего «болезнью века»: ценой потери веры и связанным с ней чувством онтологической обеспеченности бытия приобретающего «призрачную свободу» и вместе с ней упоминаемый выше разлад с мирозданием, а также бессмысленный бунт против Создателя. В стихотворении 1865 года *Певучесть есть в морских волнах* поэт пишет о такой «свобо-

⁵ Русские поэты XIX века 1964, 162.

де», а также об отчаянии человека, переживающего разлад с мироустройством (Я привожу три последние строфы из стихотворения в четыре строфы):

[...]
*Невозмутимый строй во всем,
 Созвучье полное в природе, –
 Лишь в нашей призрачной свободе
 Разлад мы с нею сознаем.
 Откуда, как разлад возник?
 И отчего же в общем хоре
 Душа не то поет, что море,
 И ропщет мыслящий тростник?
 И от земли до крайних звезд
 Все безответен и поныне
 Глас вопиющего в пустыне,
 Души отчаянный протест?*

В стихотворении 1851 года *Смотри, как на речном просторе* в трагических тонах изображает этот разлад между личностью, «человеческим Я» и мирозданием, имеющими одинаковое предназначение:

*Смотри, как на речном просторе,
 По склону вновь оживших вод,
 Во всеобъемлющее море
 За льдиной льдина вслед плывет.
 [...]
 Все вместе – малые, большие,
 Утратив прежний образ свой,
 Все – безразличны, как стихия, –
 Сольются с бездной роковой!..
 О, нашей мысли обольщенье,
 Ты, человеческое Я,
 Не таково ль твоё значение,
 Не такова ль судьба твоя?*

Источник изображенного онтологического кризиса человека, «рвущемуся к свету из ночной тени» и впоследствии ропшущего и бунтующего, Тютчев в своей статье *Россия и революция* 1848 года видит в безверии просветителей, а также последующей французской революции. Он пишет: «Человеческое Я, желающее зависеть лишь от самого себя, не признающее и не принимающее другого закона, кроме собственного волеизъявления, одним словом, человеческое я, заменяющее собой Бога, конечно же, не является чем-то новым среди людей; новым становится самовластие человеческого Я, возведенное в политическое и общественное право и стремящееся с его помощью овладеть обществом. Это новшество и получило в 1789 году имя французской революции.» Немного далее Тютчев пишет: «...В самом деле, не подумает ли каждый, [...] что новая французская республика явилась миру, дабы исполнить евангельский закон? [...] Революция [...] дух смирения

и самоотвержения, составляющий основу христианства, она стремится заменить духом гордости и превозношения, свободное добровольное милосердие – принудительной благотворительностью, а взамен проповедуемого и принимаемого во имя Бога братства пытается установить братство, навязанное страхом перед господином народом. За исключением отмеченных различий, ее господство на самом деле обещает стать Царством Христа.»⁶

Забегая немного вперед, я здесь хотел бы отметить, что приведенные выше слова Тютчева о «человеческом Я, заменяющим собой Бога», и не признающего и не принимающего другого закона «кроме собственного волеизъявления» напоминают ловушку Мефистофеля, требующего от Фауста отказаться от представляющей собой духовную, онтологическую основу человеческого бытия трансцендентной плоскости и довольствоваться исключительно одной имманентной рассудочностью. Тютчев в первой части стихотворения под заглавием *Наполеон* 1850 года дух французской революции изображает воплощенным именно в образе Наполеона:

*Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил – и изнемог в борьбе...
Не одолел ее твой гений самовластный!..
Бой невозможный, труд напрасный!..
Ты всю ее носил в самом себе.*

Общеизвестно, что культ Наполеона и представляемого им индивидуалистического начала долго еще занимает не только европейскую, но и русскую литературу (Достоевский, Толстой). Пушкин в четырнадцатой строфе второй главы *Евгения Онегина* характеризуя дружбу между Онегиным и Ленским, об индивидуализме наполеоновского типа в лирическом отступлении пишет как о распространенном общественном явлении высших слоев общества:

*Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Деуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.*

И Пушкин дух индивидуализма Наполеоновского типа неоднократно связывает с аналогичным духом поэзии Байрона, например, в девятнадцатой строфе седьмой главы *Евгения Онегина*, при описании посещения Татьяной оставленного Онегиным дома, а также в известных строфах стихотворения 1824 года *К морю*:

⁶ Россия и революция 2003, 145.

[...]
 Одна скала, гробница славы...
 Там погружались в хладный сон
 Воспоминанья величавы:
 Там угасал Наполеон.
 Там он почил среди мучений.
 И вслед за ним, как бури шум,
 Другой от нас умчался гений,
 Другой властитель наших дум.
 [...]

Первый раз князь Андрей был ранен в сражении под Аустерлицем. Толстой об этом пишет в последних главах третьей части первого тома *Войны и мира*. Падая, будучи тяжело раненым, князь Андрей открывает себе высокое, бесконечное, успокаивающее небо и на фоне такого открытия переоценивает жизненные ценности, которыми он до этого руководствовался: «„Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются”, – подумал он и упал на спину [...] Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, – высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками [...]. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того уже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»⁷ Несколько далее в девятнадцатой главе, замечая Наполеона, посетившего поле сражения, на фоне открытого им прежде высокого неба он переоценивает свое предыдущее понимание человеческого величия: «...Он знал, что это был Наполеон – его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столько маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками.»⁸ Внимание императора Наполеона к раненому князю Андрею принуждает французских солдат возратить ему снятую с его шеи золотой образок, повешенный на брата княжной Марьей. Этот же образок приводит князя Андрея к первым предсмертным размышлениями о смысле жизни и смерти. Не пускаясь в подробное рассмотрение вопроса, здесь я хотел бы только отметить, что следующие первые размышления князя Андрея тайной нитью известного «бесконечного лабиринта сцеплений» связаны с ореолом пантеистического миропонимания, неосознанно для самого героя окружавшего другого персонажа романа, близкого к Пьеру Безухову, Платона Каратаева. В тринадцатой главе первой части четвертой главы *Войны и мира*, перед последними предсмертными размышлениями умирающего князя, Толстой пишет о явлении Платона Каратаева, уже расстрелянного. Идея, смысл жизни и смерти, вопло-

⁷ Толстой 1973, т. 4. 344.

⁸ Толстой 1973, т. 4. 357.

щенные в Каратаеве бессознательно, близки к исканиям и открытиям князя под высоким, величавым небом. Толстой пишет в окончании тринадцатой главы первой части четвертого тома: «Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда [...] Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. [...] Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.»⁹ А последующие ниже размышления князя Андрея, заканчивающие первый том романа в ряду выше упомянутых сцеплений связаны не только с образом Платона Каратаева и воспринимающим его тайну Пьера Безухова, а быть может, через упоминаемый в тексте образок с перспективой и духовностью Евангелия и прежде всего с образом Наташи Ростовской, близким к воплощению именно духа Евангелия, к которому, он, в своих размышлениях, постепенно приближается. Размышления князя, заканчивающие первый том, представляющие собой искания смысла жизни и смерти, по-моему, не в меньшей степени связаны в элегии Пушкина 1823 года *Надеждой сладостной младенчески дыша*, а также с его же элегией 1830 года *Элегия*, в значительной степени обновивших элегический жанр и наглядно представляющих творческий метод Пушкина.

Князь Андрей, заметив возвращенный ему образок на золотой цепочке, думает: «Хорошо бы это было, — подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговением повесила на его сестра, — хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу это? Или сила — неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, — великое все или ничего, — говорил он сам себе, — или это тот Бог, который вот здесь защит, в этой ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнее!»¹⁰

Второй раз, как известно, князь Андрей был ранен в битве под Бородином, — на этот раз смертельно. В палатке, на перевязочном пункте, в чловеке, сильно страдающем от ранения и медицинского вмешательства, князь Андрей узнал своего врага: Анатолия Курагина. И совсем неожиданно, после своих воспоминаний о радостном детстве, о своей любви к Наташе и о

⁹ Толстой 1974, т. 7. 55.

¹⁰ Толстой 1973, т. 4. 360.

своем отношении к Курагину он впервые в жизни стал испытывать необъяснимое, сверхъестественное чувство: жалость и любовь к своему злейшему врагу. В тридцать седьмой главе второй части третьего тома мы читаем: «Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями. „Сострадание, любовь к братьям, к любящим, к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!“»¹¹

Из приведенных цитат становится ясно, что то, что во время первого ранения было непонятно для героя, в конце третьего тома, вследствие второго, смертельного ранения становится его живым опытом, переживанием. И на уровне уже упомянутых выше, известных «сцеплений» это новое открытие князя Андрея – любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – сближает его с аналогичным переживанием Наташи, описанной в 19 главе первой части третьего тома. Речь идет о том, что молящаяся в церкви Наташа сердцем не повторяет молитву, в которой говорится о попрании и падении врагов: «Она всей душой участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них.»¹²

В тридцать второй главе третьей части третьего тома *Войны и мира* новое свое переживание любви князь неоднократно связывает с *Евангелием*. Размышляя об этом своем открытии, он определяет его как новое счастье: «Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека [...] счастье, находящееся вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один Бог [...]. Да, любовь [...], но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидел своего врага и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета [...]. Любя человеческой любовью можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души.»¹³

И может быть, евангельские нити, евангельские мысли связывают и последние предсмертные размышления с возвышенными, молитвенными раз-

¹¹ Толстой 1974, т. 6. 263.

¹² Толстой 1974, т. 6. 81–82.

¹³ Толстой 1974, т. 6. 390–391.

мышлениями Наташи в церкви еще до чтения синодального письма. Повторяя слова молитвы, произнесенной дьяконом Наташа мысленно продолжает их в близком к смыслу стихов Евангелия от Матфея: «Сами себя Богу предадим, – повторила в своей душе Наташа. – Боже мой, предаю себя твоей воле, – думала она. – Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю! Да возьми же меня!» – с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа [...].»¹⁴ Приведенные выше размышления Наташи близки по смыслу к 33 стиху из шестой главы *Евангелия от Матфея*, где мы читаем: «Ищите же прежде Царства божия и правды Его, и это все приложится вам.» Конечно, приведенный 33 стих тесно связан с предыдущими 25–26 стихами, он прямо вытекает из них, говоря о *Промысле Божиим*: 25: Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? 26: Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»

Последние дни своей жизни князь Андрей проживает в состоянии странной отчужденности от всего мирского: «Он, видимо с трудом понимал теперь все живое [...] потому, что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые и что поглощало его всего.» Цитата взята из пятнадцатой главы первой части четвертого тома *Войны и мира*.¹⁵ О такой отчужденности князя Андрея, о его состоянии между жизнью и смертью в тексте романа сообщается однако не только в авторской речи, как это случилось в приведенной выше цитате, а через наблюдение – восприятие других персонажей романа, близких к князю – Наташи, княжны Марьи и Николушки. После странного вопроса князя через восприятие княжны Марьи подчеркивается отчужденность от жизни князя: «Княжна Марья слышала его слова, но они не имели для нее никакого значения, кроме того, что они доказывали то, как страшно далек он от всего живого»¹⁶. И после его встречи с Николушкой, когда княжна заплакала о том, что Николушка останется без отца, князь Андрей «...с большим усилием над собой [...] постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения.»¹⁷ И в этом предсмертном состоянии его отчужденности от жизни он все более приближается к евангельской, трансцендентной точке зрения и оценке: «Птицы небесные не сеют, ни жнут, но отец ваш питает их», – сказал он сам себе и хотел

¹⁴ Толстой 1974, т. 6. 80.

¹⁵ Толстой 1974, т. 7. 62.

¹⁶ Толстой 1974, т. 7. 63.

¹⁷ Толстой 1974, т. 7. 64.

то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по своему, они не поймут! [...] Мы не можем понимать друг друга.»¹⁸

Первая часть четвертого тома романа заканчивается описанием смерти князя Андрея. В последней, 16 главе в своих размышлениях о жизни и смерти он приходит к божественному, трансцендентному источнику и жизни, и смерти, онтологически обосновывающему человеческое бытие. Этим источником является любовь. В 16 главе мы читаем: «Засыпая, он думал все о том же, о чем думал все это время, – о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней. „Любовь? Что такое любовь? – думал он. – Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику”. Мысли эти показались ему утешительны.»¹⁹ Немного раньше, в этой же главе Толстой в форме авторской речи дает предысторию размышлений своего героя о жизни и смерти, различая два этапа в ходе этих размышлений. Первое его открытие было начало вечной любви, и чем более он отдавал себя идее такой трансцендентной любви, тем более он отрекался от земной жизни: «Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою жизнью.»²⁰ А второе впечатление князя Андрея, противоречащее своему первому открытию связано с неожиданной его встречей с Наташей в Мытищах, «Когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал [...], любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни.»²¹

Указанное в приведенных цитатах противоречие, колебание в размышлениях князя Андрея, изменения в его отношении к жизни и смерти, а также к любви напоминают аналогичный ход мысли лирического героя в стихотворении Пушкина 1823 года *Надеждой сладостной младенчески дыша*. Привожу его полностью:

*Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, –
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...*

¹⁸ Толстой 1974, т. 7. 64.

¹⁹ Толстой 1974, т. 7. 68.

²⁰ Толстой 1974, т. 7. 65.

²¹ Толстой 1974, т. 7. 66.